

A stylized illustration with a red background. On the left, a black silhouette of a man with short hair, wearing a suit and tie, is shown from the chest up. In the background, a white line drawing of a hill with a cross on top is visible against the red sky, with a few white clouds. The text is contained within a black-bordered box on the right side of the image.

Юрий Лифшиц

**ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ПРОФЕССОРА
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО.
РУКОПИСИ ГОРЯТ**

Наблюдения и заметки



Юрий Лифшиц
Предательство профессора
Преображенского. Рукописи
горят. Наблюдения и заметки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28264807

ISBN 9785449011237

Аннотация

Шариков не настолько плох, профессор Преображенский не настолько хорош, как это принято думать; рукописи горят, Мастер с Маргаритой обретают в загробной жизни отнюдь не покой – это и многое другое узнает читатель из новой книги поэта и писателя Ю. Лифшица. Неординарные размышления автора, расходящиеся с общепринятыми трактовками, переданы легко, остроумно, изысканно и увлекательно. В оформлении обложки использована иллюстрация художника Александра Курочкина, выполненная им по просьбе автора.

Содержание

Предательство профессора Преображенского	5
1. Собачье сердце	5
2. Гениальный пес	11
3. Благодетель	16
4. Пациенты Преображенского	24
5. Непрошенные гости	29
6. Кулинарная полемика	37
Конец ознакомительного фрагмента.	42

**Предательство профессора
Преображенского.
Рукописи горят
Наблюдения и заметки**

Юрий Лифшиц

© Юрий Лифшиц, 2018

ISBN 978-5-4490-1123-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предательство профессора Преображенского «Собачье сердце»: наблюдения и заметки

К 100-летию Октябрьской революции

Изучение природы делает человека в конце концов таким же безжалостным, как и сама природа.

Г. Уэллс. Остров доктора Моро.

1. Собачье сердце

В 1988 г. режиссер Владимир Бортко посредством Центрального телевидения представил широкой российской публике свой безусловный шедевр – телефильм «Собачье сердце» (далее – СС), снятый по одноименной повести Михаила Булгакова (далее – МБ). Годом ранее, в 6-й книжке «толстого» журнала «Знамя» она уже была опубликована – впервые в России – и не осталась незамеченной. Неизвестно, какой была бы судьба СС в читательском восприятии без фильма, но потрясающая лента совершенно затмила кни-

гу, навязав ей одну-единственную трактовку, безоговорочно принятую всеми слоями российского общества. Все были в полнейшем восторге. Еще бы! После 70-летней гегемонии рабочего класса невыразимо приятно было смаковать фразы типа «Я не люблю пролетариата», «Разруха не в клозетах, а в головах», «Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев» и пр. Фильм был сделан руками убежденного коммуниста, вступившего в ряды КПСС в самом что ни есть зрелом возрасте – 37 лет – и вышедшего из партии в 1991 г. на волне пресловутой перестройки. В 2007 г., однако, Владимир Владимирович снова стал коммунистом, на сей раз вступив в ряды КПРФ. Стало быть, что-то поменялось в мировоззрении режиссера, если он вторично сделался приверженцем тех же самых идей, какие не без помощи МБ столь талантливо высмеял в своей ленте. Впрочем, предполагать можно все, что угодно, а с течением времени не меняются только самые недалекие люди. Есть только один вопрос. Какой была бы трактовка главных образов повести, доведись Бортко снимать СС в настоящее время? Ничего определенного по этому поводу сказать невозможно, но фильм, полагаю, получился бы качественно иной.

Прошло 30 лет. Выкарабкавшись из-под развалин Советского Союза, Россия проделала большой и сложный путь в известном направлении. Началось осмысление того, что раньше принималось исключительно на эмоциях. Эмоции

схлынули – заработал разум. Появились статьи, публикации, книги с альтернативными мнениями о повести. Например. «Тем, кто простодушно или своекорыстно считает чисто положительным героем профессора Преображенского, страдающим от негодяя Шарикова, всеобщего хамства и неустройства новой жизни, стоит вспомнить слова из позднейшей фантастической пьесы Булгакова «Адам и Ева» о чистеньких старичках-профессорах: «По сути дела, старичкам безразлична какая бы то ни было идея, за исключением одной – чтобы экономка вовремя подавала кофе. ... Я боюсь идей! Всякая из них хороша сама по себе, но лишь до того момента, пока старичок-профессор не вооружит ее технически» (В. И. Сахаров. Михаил Булгаков: писатель и власть). Или: «7 и 21 марта 1925 года автор читал повесть в многолюдном собрании «Никитинских субботников». В первом заседании обсуждения не было, а вот потом братья-писатели свое мнение высказали, оно сохранилось в стенограмме (Гос. литературный музей)». Сахаров приводит «их выступления полностью», я же ограничусь только одним, принадлежащим литератору Б. Ник. Жаворонкову: «Это очень яркое литературное явление. С общественной точки зрения – кто герой произведения – Шариков или Преображенский? Преображенский – гениальный мещанин. Интеллигент, [который] принимал участие в революции, а потом испугался своего перерождения. Сатира направлена как раз на такого рода интеллигентов».

А вот еще. «Сатира в „Собачьем сердце“ обоюдоостра: она направлена не только против пролетариев, но и против того, кто, теша себя мыслями о независимости, находится в симбиозе с их выморочной властью. Это повесть о черни и элите, к которым автор относится с одинаковой неприязнью. Но замечательно, что и публика на никитинских субботниках, и читатели советского самиздата в булгаковские 1970-е, и создатели, равно как и зрители фильма „Собачье сердце“ в 1990-е увидели только одну сторону. Эту же сторону, судя по всему, увидела и власть – может быть, поэтому издательская судьба „Собачьего сердца“ сложилась несчастливым» (А. Н. Варламов. Михаил Булгаков.) «Повесть Булгакова построена таким образом, что в первых главах профессор куражится, причем не только над мелкими советскими сошками, но и над природой, кульминацией чего и становится операция по пересадке гипофиза и семенных желез бездомному псу, а начиная с пятой главы получает за свой кураж по полной от „незаконного сына“, на самом что ни на есть законном основании поселяющегося в одной из тех самых комнат, которыми Филипп Филиппович так дорожит» (там же).

Неожиданно всплыл мало кому известный в России фильм итальянского режиссера Альберто Латтуады, первым экранизовавшем «Собачье сердце» (*Cuore di cane*) в 1976 г. Картина оказалась совместной, итальянско-немецкой, и в немецком прокате называлась «Почему лает господин Бобиков?» (*Warum bellt Herr Bobikow?*). В этой лен-

те Бобиков, фигурирующий вместо Шарикова, представлен не таким монструозным, как в российском телефильме. Режиссер отнесся к нему с явным сочувствием, показав его несколько глуповатым, нелепым и странным недотепой. Мало того. У тамошнего Бобикова завязываются некоторая, не проявленная до конца связь с «социал-прислужницей» Зиной, относящейся к нему с жалостью и симпатией. Картина итальянца о революционной России, с моей точки зрения, получилась так себе, за одним исключением – блестяще сыгранной Максом фон Сюдовым роли профессора Преображенского. Сюдов решает роль кардинально иначе, нежели великолепный Е. Е. Евстигнеев, тем не менее шведский актер не менее убедителен, чем русский. В целом же, на мой взгляд, В. Бортко внимательным оком рассмотрел картину предшественника, прежде чем приступил к собственной версии.

Я назвал только две книги, но были и другие публикации с разного рода трактовками повести МБ. Накапливались и мои собственные наблюдения, требовавшие письменного воплощения. Но только видеоролик с убедительными размышлениями о произведении известного российского военного историка и археолога Клим Жукова показал: дальнейшее промедление с высказыванием о «Собачем сердце», имеющем подзаголовок «Чудовищная история», подобно отсутствию у меня высказывания как такового. А это далеко не так, в чем возможный читатель, надеюсь, убедится в са-

мое ближайшее время.

Посему – приступим.

2. Гениальный пес

– У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю, – так начинает свои речи «говорящая собачка», ведущая, по воле автора, весьма осмысленные внутренние монологи.

Бедного пса ошпаривает кипятком «Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства», – отсюда и вышеприведенный вопль. «Какая гадина, а еще пролетарий», – мысленно восклицает пес, аттестующий себя впоследствии, то есть в образе человеческого, как «трудовой элемент». Дело начинается в 1924 г., это выяснится из главы II, когда один из пациентов профессора Преображенского, описывая клинические последствия операции, произведенной доктором, заявит:

– 25 лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на Рю де ла Пэ.

Что произошло спустя 25 лет после Рю де ла Пэ (улицы Мира в Париже), мы узнаем чуть позже, то есть этого больного, как скажет в свое время разумный пес, «мы разъясним».

Из дневника доктора Борменталья, обстоятельно фиксирующего все стадии хирургического эксперимента своего учителя профессора Преображенского, читатель узнает, что «человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу», появился на свет в декабре

1924 г. За день до операции, 22 декабря, ассистент записывает: «Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода – дворняжка. Кличка – Шарик. ... Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания – крайне упитанный». Стало быть, начало нашей истории приходится на 15 декабря 1924 г., а ее финал – на март 1925 г.; об этом говорится в заключительной главе повести: «От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву». В «Мастере и Маргарите» головными болями будут страдать практически все, с кем так или иначе соприкоснется нечистая сила. Насколько чистой окажется сила профессора Преображенского – увидим. 1924—25 гг. – разгар новой экономической политики (НЭП) страны Советов, временного отката социалистической экономики на капиталистические позиции. Может быть, поэтому профессор Преображенский, чувствуя свою безнаказанность, открыто провозглашает, как заметил осторожный Борменталь, «контрреволюционные вещи».

Место действия СС – столица СССР, а в Москве – доходный калабуховский дом, элитное по тем временам жилье для богатых москвичей, как то «буржуй Саблин», «сахарозаводчик Полозов», ну, и, разумеется, «профессор Преображенский», проживающий в 7-и комнатной квартире, где Шарик в результате сложнейших медицинских эволюций сперва становится Шариковым, потом обратно Шариком.

Рассуждения пса, за вычетом чисто собачьего скуляжа «У-у-у-у-у», выказывают особь, знакомую не только со многими аспектами человеческой жизни, но и способную делать на основе увиденного вполне разумные выводы.

Во-первых, он знает толк в общепитовской кулинарии. «На Неглинном в ресторане „Бар“ жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя – все равно, что калошу лизать».

Во-вторых, понимает и чувствует музыку: «И если бы не гримза какая-то, что поет на лугу при луне – „милая Аида“ – так, что сердце падает, было бы отлично» (возьмем «Аиду» на заметку: пригодится в дальнейшем). Попутно по поводу словоупотребления «гримза». Арию «Милая Аида» в опере Верди поет начальник дворцовой стражи Радамес, а старой гримзой обычно называют женщин. Однако в толковом словаре Кузнецова сказано, что так говорят вообще «о старом сварливом человеке» без указания пола. Впрочем, собака могла и перепутать, тем более что «Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие» (В. Ерофеев. Москва – Петушки).

Пес, в третьих, здраво рассуждает по поводу отношений, проистекающих между мужчинами и женщинами: «Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовы чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным

способом, а подвергает французской любви».

В-четвертых, находится в курсе закулисной стороны человеческого бытия: «Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек захвоз уворовал».

В-пятых, умеет читать – научился по вывескам, а это не всякому человеку под силу, особенно в стране, еще не достигшей уровня поголовной грамотности: «Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката „Возможно ли омоложение?“»

В-шестых, подкован политически. Когда его запирают в ванной перед операцией, пес горестно думает: «Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать... Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

В-седьмых, в-восьмых... Я бы мог немало еще наговорить об этой достопримечательной собачьей личности, но думаю, сказанного пока что достаточно. После операции над Шариком ассистент профессора, все тот же доктор Борменталь отметит в своем дневнике: «Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах». Он совершенно прав: чужая душа – космос.

«Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула и из нее показался гражданин», – продолжаю я ци-

тировать поток собачьего сознания. — «Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего, — господин. Ближе — яснее — господин». Уличный пес непостижимым образом узнаёт профессора Преображенского, причем не только по имени, но и по роду занятий. «Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили». И далее: «А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам». Именно так — «Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения» — в главе VIII назовет Преображенского доктор Борменталь, уговаривая профессора истребить распоясавшегося Шарикова. Заметим: собака и человек называют профессора Преображенского по имени-отчеству.

Намек МБ недвусмыслен: эскулапа благодаря его опытам каждая собака знает, и, разумеется, будущий Шарик-Шариков далеко не первое живое существо, попавшее под скальпель знаменитого доктора, осуществляющего свои эксперименты «мирового значения». Борменталья собака не знает, называя его не иначе как «тяпнутый», то есть укушенный Шариком во время погрома, устроенного перепуганным псом в квартире профессора, перед тем как доктора взялись лечить ему ошпаренный поваром бок.

3. Благодетель

– Фить-фить, – посвистал господин, входя в повествование, как и собака, с междометия. Затем он «отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская»», бросил псу «и добавил строгим голосом:

– Бери! Шарик, Шарик!»

Так происходит наречение пса, хотя, строго говоря, называет его этим именем за несколько минут до профессора «барышня» в «кремовых чулочках», под юбкой которой Шарик благодаря порывам «ведьмы сухой метели» заметил «плохо стиранное кружевное бельишко» – откуда и взялись собачьи разглагольствования о фильдиперсах и французской любви. «Опять Шарик. Окрестили», – думает наш пес. – «Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок». Подманить колбасой двое суток не евшую, ошпаренную и замерзшую скотинку «господину» труда не составляет. «Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью – как бы не потерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность».

– Здравия желаю, Филипп Филиппович, – прямо-таки с собачьей преданностью приветствует пришедшего швейцар дома в Обуховском переулке, тем самым отчасти подтвердив для читателя интуицию Шарика (имя-отчество гос-

подина названы, род занятий еще нет) и внушив псине благоговейный трепет перед своим спасителем и проводником в грядущий мир чистоты, сытости, тепла, уюта и... скальпеля.

«Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества?» Ведь, по мнению Шарика, швейцар «во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе». «Живодер в позументе» по имени Федор «интимно» сообщает Филиппу Филипповичу о вселении «житоварищей» «в третью квартиру», а когда «важный песий благодетель» возмутился, добавляет:

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сообщив читателю, кроме этой, еще одну примечательную для нас подробность: «На мраморной площадке повеяло теплом от труб», – автор начинает повествовать о лингвистических способностях Шарика, сопроводив свой рассказ весьма ехидным замечанием: «Ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей научитесь грамоте, притом безо всяких курсов». И вообще: «Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово „колбаса“». Иными словами, если даже собаки ликвидируют собственную безграмотность самостоятельно, то на кой ликбезы людям, по определению, венцам тво-

рения? Большевики, однако, полагали иначе.

Количество бродячих собак явно взято «с потолка». Согласно переписи 1926 г. в Москве проживало чуть больше 2-х млн человек. Стало быть, по версии МБ, на 50 жителей приходился один уличный пес. Многовато будет, знаете ли. С другой стороны, Гамлет у Шекспира восклицает:

Офелия – моя!

Будь у нее хоть сорок тысяч братьев, —
Моя любовь весомее стократ!

Если так, то четвероногий персонаж повести – это своего рода густопсовый Гамлет среди сорока тысяч грамотных московских собак, беззаветно влюбленных в краковскую колбасу. И, подобно Гамлету, пес напорется в лихой час на холодное оружие.

Букву «ф» – «пузатую двубокую дрянь, неизвестно что означающую», – Шарик у опознать не удастся, и он, не доверяя самому себе, едва не принимает слово «профессор» на дверной табличке своего благодетеля за слово «пролетарий», но вовремя приходит в себя. «Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу» Филиппа Филипповича «и уверенно подумал: „Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает – что оно значит“». Весьма скоро он об этом узнает, но свежее знание не принесет ему никакой собачьей радости. Скорее наоборот.

– Зина, – скомандовал господин, – в смотровую его сей-

час же и мне халат.

И тут началось! Напуганный пес устраивает в квартире профессора содом и гоморру вместе взятые, но превосходящие силы противника все-таки одолевают и усыпляют животное – для его же, впрочем, пользы: «Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал».

– От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей, – запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

И далее:

– Р-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

А далее профессор будет напевать эти строки из «Серенады Дон Жуана» А. К. Толстого на музыку П. И. Чайковского на протяжении всей повести, перемежая этот мотив другим: «К берегам священным Нила», – из оперы Д. Верди «Аида», отчасти известной, как показал автор, и псу. Причем никого – а Филипп Филиппович будет извлекать из себя звуки все тем же «рассеянным и фальшивым голосом» даже при посторонних, – никого это не будет раздражать. Зато когда Шарик, ставший «мосье Шариковым», примется виртуозно наяривать на балалайке народную песню «Светит месяц» – вплоть до того, что профессор непроизвольно начнет подпевать, – то господина Преображенского музыкальные упражнения созданного им «человека маленького роста и несимпатичной наружности» начнут бесить несказанно.

но, вплоть до головной боли.

– Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос.

Вопрос Борменталья дает профессору повод разразиться небольшой речью, в которой моральный аспект, приправленный назидательностью, свойственной пожилому человеку и педагогу, запросто сочетается с нападками на существовавшую в те годы власть коммунистов-большевиков.

– Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделаться нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. ... Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему.

Поразительная вещь: под определение профессора – животное, «на какой бы ступени развития оно ни стояло», – подпадает и человек, поскольку именно людей обычно подвергают террору, тогда как террор по отношению к животным называется несколько иначе: скажем, истреблением или уничтожением популяции. Забегая вперед, отмечу: может быть, именно поэтому, убивая в конце повести «товарища Полиграфа Полиграфовича Шарикова... состоящего заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных», рафинированные интеллигенты Преображенский и Борменталь не слишком угрызаются совестью,

ведь для них он не более чем животное, по словам профессора, «неожиданно явившееся существо, лабораторное». Или, как говорит Борменталь, намеревающийся «накормить» Шарикова «мышьяком»:

– Ведь в конце концов – это ваше собственное экспериментальное существо.

Собственное – отлично сказано! «Человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу», – собственность профессора, поэтому доктор имеет право делать с ним все, что угодно, вплоть до убийства? По-видимому, так. Для Преображенского смерть «лабораторного существа» – дело обыденное. Говорит же он до опыта над Шариком:

– Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом – «Аида». А я давно не слышал. Люблю...

«Кролик издох» – не справлять же по нему поминки, – а профессор как человек высокой культуры обожает культурно отдыхать.

С другой стороны, возможно, профессиональные навыки и представления Преображенского несколько доминируют в его сознании, так что он склонен непроизвольно переносить их в сферу социального общения. Запомним, однако, пассаж о ласке и посмотрим по ходу изложения, каким образом сочетается практика отношений профессора с людьми с его же теоретически «ласковыми» выкладками.

МБ устами Преображенского говорит о «белом, красном и даже коричневом» терроре. Первые два автор наблюдал непосредственно в эпоху революций и гражданской войны, а о коричневом, очевидно, знает из прессы, ведь штурмовые отряды (нем. *Sturmabteilung*) «коричневорубашечников», нацистские военизированные подразделения, были созданы в Германии еще в 1921 г.

Когда пес, улучив момент, все-таки «разъясняет» сову плюс разрывает профессорские калоши и разбивает портрет доктора Мечникова, Зина предлагает:

– Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, – профессор разволновался, сказав:

– Никого драть нельзя... запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением.

И скальпелем, добавим мы, опять же забегая вперед.

Есть еще один авторский намек, предвосхищающий переход пса из мира животных в мир людей. На приеме у Преображенского, глядя на типа, на голове которого «росли совершенно зеленые волосы», Шарик мысленно поражается: «Господи Иисусе... вот так фрукт!» А во время потопа, чуть позже устроенного Шариковым в квартире профессора, туда через кухню «просачивается» бабуся, которой:

– Говорящую собачку любопытно поглядеть.

«Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

– О, господи Иисусе!»

Никто из персонажей повести больше Спасителя не помнит, разве только те, кто еще не подвергся разрушительной, по мнению автора, атаке высокообразованных экспериментаторов – неважно, идеологической или научно-исследовательской.

4. Пациенты Преображенского

– Фить, фить. Ну, ничего, ничего, – успокоил подвергнутого лечению пса Преображенский. – Идем принимать.

Идем, говорим мы вслед за профессором, пока еще не понимая, кого или что принимать и зачем. Реплика «тяпнутого» – «Прежний» – дела не проясняет, и читатель вместе с псом готов подумать: «Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал». Ошибается собака, ошибается и читатель. Это оказалась как раз лечебница, но со странными пациентами. Взять хотя бы первого, то есть «прежнего». «На борту» его «великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень». Когда на требование доктора разоблачиться он «снял полосатые брюки», «под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами». В ответ на неизбежное профессорское «Много крови, много песен...» – а крови уже пролито и будет пролито в избытке – из той же «серенады Дон Жуана», культурный субъект подпевает:

– «Я же той, что всех прелестней!..» – «дребезжащим, как сковорода, голосом». А в том, что «из кармана брюк вошедший роняет на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами», ничего страшного не находит даже господин профессор, при-

звав только пациента не злоупотреблять – теми, вероятно, действиями, каковые тот как раз и производил 25 лет назад в районе парижской улицы Мира. Впрочем, «субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал» красавицу «и густо покраснел». Еще бы не покраснеть! В его явно почтенном возрасте иные люди о душе думают, а не предаются юношеским порокам при помощи порнографических открыток, в чем он, не краснея, признается своему не менее почтенному доктору:

– Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями.

Затем он «отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег» (белые деньги – советские червонцы) и, нежно пожав «ему обе руки», «сладостно хихикнул и пропал».

Следом возникает взволнованная дама «в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее», и «странные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета».

(На момент написания повести МБ было 34 года. В таком возрасте представить себя стариком решительно невозможно. Зато можно язвительно заметить о пожилой женщине, что у нее «вялая и жеваная шея». И. Ильфу было 30 лет, Е. Петрову – 25, когда они хлестко написали в «Двенадцати стульях» о постаревшей любовнице Кисы Воробьянинова Елене Боур, что она «зевнула, показав пасть пятидесятилетней женщины». Д. Кедрин пошел еще дальше, написав

в 1933 году:

И вот они – вечная песенка жалоб,
Сонливость, да втертый в морщины желток,
Да косо, по-волчьи свисающий на лоб,
Скупой, грязноватый, седой завиток.

И это о собственной матери! Поэту тогда было 26 лет.)

Дама пытается ввести доктора в заблуждение относительно своего возраста, но сурово выводится профессором на свежую воду. Несчастливая женщина сообщает доктору причину своих печалей. Оказывается, она безумно любит некоего Морица, между тем «он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод». А когда она опять же по требованию профессора, не церемонящегося даже с дамами, принимается «снимать штаны», пес «совершенно затуманился и все в голове у него пошло кверху ногами. „Ну вас к черту, – мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, – и стараться не буду понять, что это за штука – все равно не пойму“». Читатель тоже не совсем понимает, но смутно начинает кое о чем догадываться, когда профессор заявляет:

– Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны.

Изумленная сударыня соглашается на обезьяну, договаривается с профессором об операции, причем по ее просьбе и за 50 червонцев профессор будет оперировать лично,

и, наконец, опять «колыхнулась шляпа с перьями» – но уже в обратном направлении.

А в прямом – вторгается «лысая, как тарелка, голова» следующего пациента и обнимает Филиппа Филипповича. Тут начинается вообще нечто экстраординарное. Судя по всему, некий «взволнованный голос» уговаривает профессора ни много ни мало как сделать аборт 14-летней девочке. А тот пытается как-то усовестить просителя, видимо, из смущения обращаясь к нему во множественном числе:

– Господа... нельзя же так. Нужно сдерживать себя.

Нашел кого воспитывать! А на возражение пришедшего:

– Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку, – доктор натурально «включает дурочку»:

– Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

Ну, так ведь к нему и пришли не как к юристу.

– Женат я, профессор.

– Ах, господа, господа!

Доподлинно неизвестно, соглашается ли Преображенский на предложенную ему гнусность, но, исходя из контекста СС, можно с большой долей уверенности сказать: да, соглашается. Высокопоставленный педофил приходит к профессору не случайно, а скорей всего по наводке осведомленных господ; доктор – блестящий профессионал и к тому же лицо частное, стало быть, все будет сделано превосходно и ши-

то-крыто; да и прецедент пахнет отнюдь не жалкими 50-ю червонцами предыдущей дамы, а куда более крупной суммой – дельце-то ведь незаконное.

Прием продолжается: «Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук». А в результате: «„Похабная квартирка“, – думал пес». Если, заглянув в конец повести, размыслить над тем, как обошлись с ним самим, то можно сказать: предчувствия его не обманывают.

5. Непрошенные гости

Вечером того же дня к профессору навещает совсем иная публика. «Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно». Филипп Филиппович «стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались». Общается он с новыми посетителями качественно иначе, чем со своими пациентами.

Перебивает, не давая людям слова сказать.

– Мы к вам, профессор... вот по какому делу... – заговорил человек, впоследствии оказавшийся Швондером.

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду... во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские, – увещевает воспитаннейший господин тех, у кого нет не только персидских ковров, но даже калош.

Унижает вошедшего «блондина в папахе».

– Вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович.

В ответ на попытку Швондера изложить суть дела напрочь игнорирует говорящего:

– Боже, пропал калабуховский дом... что же теперь будет с паровым отоплением?

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

Вне всякого сомнения – издевается, глумится, куражится.
Требует разъяснить ему цель посещения:

– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать, – а сам только затягивает разговор.

Наконец, вызывает ответную реакцию, поскольку следующую реплику Швондер произносит уже «с ненавистью»:

– Мы, управление дома... пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

Здесь интеллигентнейший профессор указывает «пришельцам» на неграмотное построение фразы.

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении.

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

Швондер в курсе, но пытается урезонить Преображенского:

– Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. ... И от смотровой также.

Взбешенный доктор звонит своему высокопоставленному советскому покровителю Петру Александровичу и доносит до него сложившуюся ситуацию следующим образом:

– Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

Совработник, судя по разговору, не шибко верит эскулапу, получившему в свое время железную «охранную грамоту», на что тот раздражается следующим пассажем:

– Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц.

Если у вошедших и есть оружие, то они профессору револьверами не угрожают, разве что «взволнованный Швондер» обещает «подать жалобу в высшие инстанции». Никто Преображенского не терроризирует и не собирается отнять часть квартиры. Ему всего-навсего предлагают – по собственной воле – отказаться от пары комнат. Иными словами, ничего особенного не происходит. Доктор вполне мог своими силами отбиться от визитеров, однако он предпочитает подлить масла в огонь. При этом профессор начинает и заканчивает свою «апелляцию» чем-то вроде откровенного шантажа:

– Петр Александрович, ваша операция отменяется. ... Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Они... поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу пе-

редать Швондеру. Пусть он оперирует.

Подобного фортеля не ожидает даже издавший виды председатель домкома:

– Позвольте, профессор... вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений, – срывает его Преображенский и передает трубку с Петром Александровичем на проводе.

Швондер получает крепкую нахлобучку от высоко сидящего начальства и, сгорая от стыда, произносит:

– Это какой-то позор!

«Как оплевал! Ну и парень!» – восхищается пес.

Пытаясь сохранить хоть какое-то лицо, «женщина, переодетая мужчиной», «как заведующий культотделом дома...» (– За-ве-дующая, – тут же поправляет ее образованнейший Филипп Филиппович) предлагает ему «взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука». Профессор не берет. Детям Германии он сочувствует (это неправда), денег ему не жалко (это правда), но...

– Почему же вы отказываетесь?

– Не хочу.

– Знаете ли, профессор, – заговорила девушка, тяжело вздохнув, – ... вас следовало бы арестовать.

– А за что? – с любопытством спросил Филипп Филиппович.

– Вы ненавистник пролетариата! – гордо сказала женщина.

– Да, я не люблю пролетариата, – печально согласился Филипп Филиппович.

Униженная и оскорбленная четверка в горестном молчании удаляется, исполненный благоговейного восторга «Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз», после чего «ненавистник пролетариата» в прекрасном расположении духа отправляется обедать. А напрасно он так запросто и снисходительно оскорбляет и унижает «прелестный», по его словам, «домком». Некоторое время спустя это ему аукается, например, в разговоре с тем же Швондером.

– Вот что, э... нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

– Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Так-то вот. Не следует настраивать против себя людей, могущих доставить тебе неприятности, несмотря на все твои «охранные грамоты». Ведь если бы профессор не вел себя со Швондером столь высокомерно и нагло, возможно, тот не стал бы впоследствии и сам писать доносы на Преображенского, и помогать в этом гнусном деле Шарикову.

Чем провинился перед профессором пролетариат, мы еще поговорим, а пока следует остановиться на пресловутом уплотнении. Как ни банально это звучит, но пролетарская революция в России делалась вовсе не в интересах «поту-

стороннего класса» (Н. Эрдман. Самоубийца). По крайней мере, на первых порах новая власть содействовала угнетенным, стимулировав исход трудящихся из хижин во «дворцы». Рабочие в массе своей жили в казармах, мало чем отличавшихся от барачных грядущего ГУЛАГа, ютились в подвалах и полуподвалах, снимали углы и пр. Была, конечно, рабочая элита, высококвалифицированные трудящиеся, зарабатывающие не хуже инженеров. Были заводчики-оригиналы вроде А. И. Путилова, здоровавшегося с работягами за руку, организовывавшего для них школы, больницы, лавки с дешевыми товарами, но в целом рабочий класс жил по-скотски и радостно принялся уплотнять «буржуев». Ничего хорошего господам, проживающим в шикарных многокомнатных квартирах, уплотнение не сулило. Мирное сосуществование образованного и утонченного класса с грубым, сквернословящим, пьющим, не знающим правил приличия черным людом, подогретым лозунгами типа «Грабь награбленное!», было практически исключено. Как утверждает Википедия, «Вселение рабочих в квартиры интеллигенции неизбежно приводило к конфликтам. Так, жилищные подотделы были завалены жалобами жильцов на то, что „подселенцы“ ломали мебель, двери, перегородки, дубовые паркетные полы, сжигая их в печах». Мнение меньшинства, однако, почти не принималось во внимание, поскольку переселение в нормальное жилье соответствовало интересам большинства, а отапливать помещение при отсутствии парового отоп-

ления как-то надо было.

По поводу уплотнения издавались законы и выносились постановления, к каковым я отсылаю любителей давным-давно опубликованных первоисточников. Приведу только одну весьма характерную и не совсем внятную, на мой взгляд, цитату из брошюры В. И. Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?», опубликованную в октябре 1917 г., за несколько дней до переворота 25 октября (7 ноября) того же года (В. И. Ленин. ПСС. Т. 34): «Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем 1 интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты, непременно не менее 5 женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает её, находит 5 комнат на двоих мужчин и двух женщин». Спустя буквально несколько дней после публикации теория вождя стала практикой и вовсе не такой благодатной и безоблачной, как ему представлялось, породив массу злоупотреблений и преступлений. Впрочем, ему было все равно, поскольку «революцию не делают в белых перчатках».

Так в крупных российских городах, прежде всего в Москве и Петрограде, появляются коммунальные кварти-

ры. Те самые коммуналки, где на «38 комнаток всего одна уборная» (В. Высоцкий. Баллада о детстве) и которые принято проклинять как безусловное зло, в свое время были подлинным благом для десятков тысяч рабочих и рабочих семей. «Буржуазному элементу» в ту пору было не до жиру, быть бы живу. Возможно, к декабрю 1925 г., о котором идет речь в повести, уплотнять было уже практически некого, ибо, как скажет в дальнейшем Шариков, «господа все в Париже»: туземные французские и отнюдь не по своей воле понаехавшие русские. Тем не менее поверим автору на слово и посмотрим, что там и как на обеде у профессора Преображенского.

6. Кулинарная полемика

А за обедом у Филиппа Филиппович происходит полемика МБ с... А. П. Чеховым (далее АЧ). Речи профессора – это прямой ответ секретарю съезда Ивану Гурьичу Жилину из чеховской «Сирены». И не просто ответ, а резкое, жесткое и, я бы даже сказал, гневное возражение. Преображенский как персонаж полемизирует с Жилиным, МБ как писатель и гражданин – с АЧ.

Жилин говорит:

– Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать.

Преображенский ему вторит, переходя от частного тезиса о правильном закусывании к общему – о правильном питании:

– Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте себе, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как.

Булгаковский герой, прошу заметить, вслед за чеховским в разговоре о еде обращается к персонажу, называемому по имени и отчеству. Только Преображенский рассуждает во время обеда, а Жилин – до.

– Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка, – говорит Жилин. – Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувству-

ете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом... объединение!

Жилину возражает Преображенский, заставивший Борменталья закусить рюмку водки чем-то похожим «на маленький темный хлебик»:

– Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском Базаре.

Селедка, икра, редька, рыжики соленые... Секретарь съезда как раз таки «оперирует» закусками холодными и получает время спустя недвусмысленный отлуп от профессора медицины. Почему Преображенский, сам тоже из недорезанных, так пренебрежительно, с употреблением «революционной» лексики, отзывается о собратях по классу, непонятно. Может, МБ тем самым пеняет АЧ, положившему жизнь на описание разного рода русских «вырожденцев», на то, какими слабыми, ничтожными, неспособными на сопротивление те оказались в лихую годину? А может быть, на то, что именно «недорезанные» и выпестовали будущих Шариковых? Или проглядели их появление?

– Когда вы входите в дом, – смакует Жилин, – то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом этак не спеша, поднесете ее, водочку-то, к губам и – тотчас же у вас из желудка по всему телу искры...

Преображенский и водку пьет иначе, чем Жилин, без всяких там пищеварительных моментов предвкушения и оттягивания удовольствия, а именно: «Филипп Филиппович... вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло». «Вышвыривает» Преображенский именно из рюмки, а не из стаканчика с надписью «его же и монаси приемлют», как советует Жилин, восставая против рюмок. Иные времена – иная посуда. Не до «дедовского допотопного серебра», возможно, уже реквизированного или проданного ради куска хлеба. Впрочем, свой «мировой закусон» профессор медицины, имеющий серьезного покровителя в советских органах, подцепляет на «лапчатую серебряную вилку», стало быть, реквизиция «недорезанному» пока не грозит.

Секретарь у АЧ упоминает, кстати, и горячие закуски: налимью печенку (возможно, ее подавали и холодной), душные белые грибы (это то же самое, что и тушеные, только

душонные) и кулебяку.

– Ну-с, перед кулебякой выпить, – продолжал секретарь вполголоса... – Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...

У МБ ничего не говорится о второй рюмке, но ведь не мог же русский человек за обедом обойтись всего лишь одной. Не мог. Надо полагать, не обошлись и Преображенский с Борменталем. «Вторительно» они закусывали... супом вопреки заклинаниям профессора: «Засим от тарелок подымался пахнувший раками пар». Кстати и замечание о порозовевшем «от супа и вина» Борментале, «тяпнутом» Шариком накануне.

Суп остался вне писательской компетенции МБ, а у АЧ секретарь и по поводу супов разливается «как поющий соловей», не слышащий «ничего, кроме собственного голоса»:

– Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленью: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому

подобной юриспруденцией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.